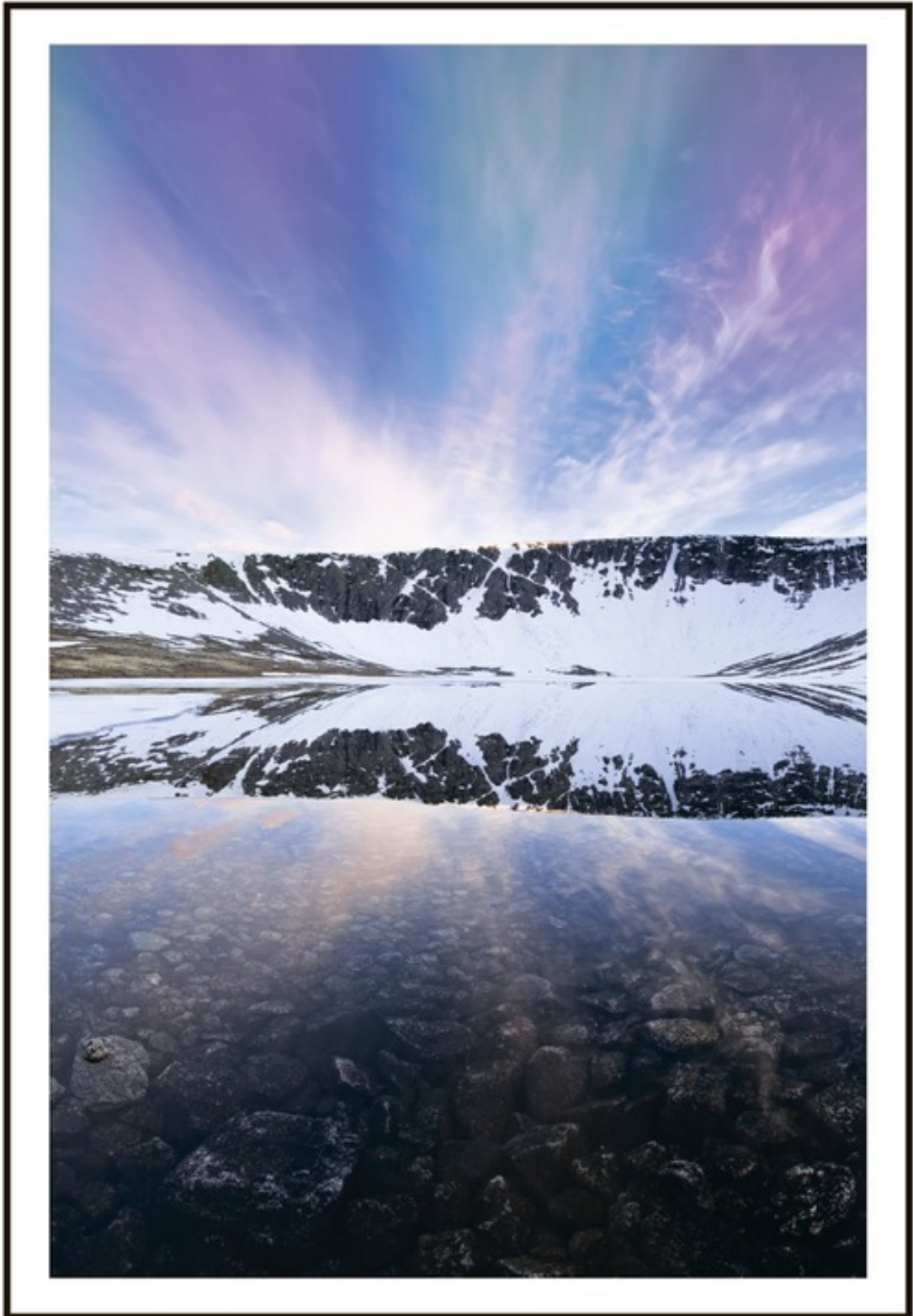


Леонид Кабалов

ОТКРОВЕНИЯ ЮРОДИВОГО

записки изгоя



Леонид Кабалов

**Откровения юродивого.
Записки изгоя**

«Издательские решения»

Кабалов Л.

Откровения юродивого. Записки изгоя / Л. Кабалов —
«Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-902857-0

Автор после окончания факультета журналистики Киевского государственного университета был направлен на Дальний Восток, где окончил еще и Хабаровскую Высшую Школу, жил и работал на Колыме и Чукотке. Имеет книги: «Лесникова криница», «Элыталгин-розовая Чайка», повесть «Земля лебединая». Данная книга о дальневосточниках-журналистах, начинающих писателях, геологах и золотодобытчиках, о романтиках, ставших изгоями, о поиске правды, смысле жизни.

ISBN 978-5-44-902857-0

© Кабалов Л.
© Издательские решения

Содержание

Одиночество	6
Со свечой	12
Призраки-эфемеры	16
Родники	22
Конец ознакомительного фрагмента.	30

Откровения юродивого Записки изгоя

Леонид Кабалов

– А что ты делаешь?

– Ищу тайну...

Из разговора с детьми

© Леонид Кабалов, 2018

ISBN 978-5-4490-2857-0

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

С неба падали холодные ноябрьские дожди, после которых на мокрую землю снег ляжет уже не осенний, а зимний. На берегу Волги, между тверскими и ярославскими лесами, под высокою одинокою сосной сидел старик в брезентовом плаще с поднятым капюшоном, лицом на восток; дети, пробегая с удочками мимо, подумали, что он спит, а оказалось, мертв, глаза выколоты... Душа только бесприютная, потерянная могла обрести покой так неприкаянно и мучительно, на семи ветрах, под прощальную музыку поздних осенних дождей.

У бродяги на шее был алый шарф, рядом сумка из мешковины, сшитая белыми нитками, видно детской рукой, а в ней рукопись «Откровение юродивого».

Тихо и грустно осыпалась с сосны на плащ, капюшон и нищенскую сумку мокрая хвоя.

Одиночество

– Дайте ландорик! Дайте ландо-орик! – просил и плакал насмешливый голос, не мужской и не женский – передразнивал кого-то; вдруг захохотал: – Какие глупые! Мы же падаем! Стуки уже, стуки... – и запел: – Да-айте ландорик!

К печальной этой больнице в почерневших березах я уже начинаю привыкать; и к пению, и к смеху, и к плачам, к бледным лицам с выражением лунатиков, к решеткам на окнах, запахам, стукам таинственным в темноте – привыкаю ко всему, но по ночам по-прежнему не могу уснуть, забываюсь только к утру, на рассвете: душа пытается... В церквах ударили большие колокола – благовесты, а за ними, как веселая детвора, побежали подголоски; видно, святой был праздник, но звуки церковной меди казались опрокинутыми, страдающими, и сердце упало, замерло... Дул ветер, и кричали черные птицы.

Эти птицы и колокола напоминали о гибели СССР, человеческих судьбах, жизни моей, и вспоминаются безумные голоса. Не сон ли? Колосс, возникший, как пламя, на руинах империи Российской, уже был весь в тупиках и искривлениях, сдавлен извне и внутри, но в нем еще чувствовались и направление и потенциал; разрушительное движение стало неожиданностью и было таким наглым, пошлым, что оторопели и законы и мораль. Меньшинство напирало на большинство, начался вандализм... Как болит голова, сердце, душа! Прочь, черные птицы, прочь!

Тускло в нашей палате, душно. Плачут где-то; должно быть, в конце коридора, в большой палате, где дверь всегда открыта. Плач глухой, сдавленный, словно кому-то было тяжело дышать. И напряжение во всем как перед грозой; запахи, веками копившиеся в больнице, теперь собрались вместе, и от них и тоски глаза сами закрываются, засыпаешь даже стоя. Топтыш-Коротыш, он же Егорушка, артист-куплетист, по виду лемур, уныло заглядывает под койки. Театр его сгорел, и он ищет поджигателей.

– Тьфу! Тьфу! – плюется Егорушка и плаксиво спрашивает о человеках мира – людях без родины.

Ему не отвечают – ни калачики, свернувшиеся на койках поверх одеял, ни лежавшие навзничь, глядя перед собой в потолок, как в небо... Не отвечаю и я; стою у окна и смотрю сквозь решетки на птиц, ссорящихся около мусоросборника во дворе больницы. Ворона отняла у голубя податливое что-то, тягучее, а галка то подскочит к добыче, то отскочит, рассчитывая, очевидно, тоже на долю. С запада надвигалась дождевая туча, такая мрачная, будто она заранее сердила на тех, на кого надвигалась.

– Уже томит седьмое ожиданье Все африканцы я великий грек И встречно дышит грустное прощанье В индиговый, индиговый наш век...

Это Леша-Вася, сосед мой по койке, лежа навзничь, задрав подбородок с пушком, читает свои стихи, которые он, в пику стихотворениям в прозе, называет прозой в стихах, а чтобы пика была острее, не признаются и знаки препинания. Читает он нервно, с надрывом, по моде современной, но так, будто передразнивает кого-то, при этом светлые его глаза, тоже, должно, по моде, становятся стеклянными. На вид Леше-Васе лет двадцать пять, но он утверждает, что ему девяносто и еще много раз по сто. При рождении ему хотели дать имя Василий, а записали Алексеем, и теперь он не знает, какое имя у него настоящее, и при знакомстве так представляется: Леша-Вася, а когда я однажды по рассеянности-забывчивости назвал его наоборот – Васей-Лешей, он обиделся. Магия чудилась ему в именах, а у него была, выходит, двойная магия.

До больницы волосы у Леша-Васи были длинные, как у человека богемы, а теперь он стрижен, с шишками-буграми на темени. По образованию он инженер-электронщик, но представляется художником и показывает какие-то рисунки в меланхолических тонах; втайне же он

воображает себя слепым поэтом древности, прозревшим зачем-то в теперешнее время. Инкогнито он на Земле и тайну эту доверил мне после того только, как узнал, что я тоже сочинитель и имею свои книги, повести и рассказы. Были у Леша-Васи и другие таланты. В дни солнечные он пел тенорком, очень жалостливо, а в непогоду, в ненастье передразнивал нас, и птиц, и тополь, росший перед окном с решетками нашей палаты, но особенно смешно изображал комаров, которые у него жужжали как мухи, но пискляво.

Все незнакомое Леша-Вася встречал сперва смехом, потом произносил незнакомое слово вслух, и если звучание нравилось, задумывался – магический искал смысл. И когда как-то за ужином в столовой я рассказал ему о ландориках, он тоже засмеялся, потом вслух произнес: лан-до-ри-ки... И задумался, а я стал объяснять, что ландорики – это обыкновенные лепешки, которые на Крайнем Севере пекут геологи в поле. От разочарования Леша-Вася чуть не заплакал и убежал, потом передразнивал ландорики, и те пели у него тенорком. Магию разрушил я своим объяснением.

Проза в стихах затихла, и я слышу, как Леша-Вася подкрадывается ко мне на цыпочках: любопытно ему, отчего я стою у окна так долго. Ссорящихся птиц уже не было, добыча брошена, а туча совсем рядом, еще минута – и ее космы нависнут над тополем и березами почерневшими. Громыхнуло, и в палате зажегся свет – зажегся сам по себе, но, может, исподтишка включил Леша-Вася, любивший все включать, не выключая. В туче блеснуло, тьма проворчала, и казалось, что в небе разжигают огонь и сердятся, что тот не разгорается.

– Если геометрит кто-то криво Это значит он и сам кривой, – по обыкновению без знаков препинания продекламировал Леша-Вася, очевидно, сочиненное только что.

Молния сверкнула ближе, и гром был уже с грохотом, страшнее молнии. И потом он становился все сердитее и угрюмее, а молнии длиннее и ослепительнее. Уже не разжигали-поджигали, а сверкала электросварка: небо разрезали! Черной, и лиловой, и сизой была туча, а из глубины ее, из тьмы-тьмущей, глядели чьи-то глаза... Не безумца ли, разрезавшего небо? Искривляясь, туча проходила мимо; сила, противостоявшая ей, одолевала, но в ударах грома все еще слышалось: стр-рах! стр-рах! В конце коридора снова плач сдавленный: словно душа чья-то потерявшаяся, бесприютная бродила в больнице, не находя себе места ни на одном из трех ее этажей.

Мимо нашей палаты пробежали шаги, и я не узнал голос медсестры – хриплый, срывающийся, и казалось, что сейчас закричат басом. Леша-Вася, посеревший, совсем без лица, попятился к своей койке и лег, свернувшись калачиком, потом опрокинулся навзничь, опять калачиком... Нервозность и у меня, беспокойство и чувство, похожее на страх, не нахожу себе места. Один только Егорушка все так же уныло искал поджигателей под койками и спрашивал плаксиво о человеках мира: кто они и с добром ли на Земле?

Ожидали грозу и ливень, но поднялся ветер и такой вихрь с пылью, что потом находили на земле мертвых птиц. Туча свалилась, оставив после себя запах дождя, не пролившегося на страждущих.

Лежа на койке, Леша-Вася скрестил руки на груди и закрыл глаза, показывая всем видом своим, что он мертвец и в гробу; поднял большой палец – свеча... И действительно, на рассвете в соседней палате умер человек: всклокоченный старичок, похожий на колдуна, в круглых очках.

Говорили, что перед смертью он всю ночь свистяще дышал, вскрикивал и грозил в темноту кому-то сухим желтым кулачком, потом плакал... Так и в морг его увезли – в очках круглых, светившихся, как глаза, и со слезами.

– Ему, может, и лучше, что помер, – философски отнеслись в нашей палате к случившемуся. – Отмаялся. Не хотелось бы так умереть – ненавидя, проклиная... Аптекарем он был.

Когда все, во что верил и ради чего жил, рушится, а ты измучен и не можешь ни приспособиться-измениться, ни вообще сохраниться, – когда душа остановилась, немеет и не знает,

зачем она на свете, то тяжело быть живым. Снятся закаты, вечерние воды тихие, птицы в небе с кликами прощальными... И ищешь уединения, покоя. Родственник одного из моих дальневосточных знакомых был лесником в Подмосковье, и я после больницы поселился в Лосинском лесу, в одинокой сторожке, брошенной еще до перестройки, в конце застоя.

Уже чувствовалась осень, однако лето еще пересиливало, особенно в такие, как теперь, солнечные дни. У семейки берез около сторожки листья желтели по-осеннему, но по-летнему были теплые; среди опавших были и не березовые, багряные, ветрами занесенные.

– Здравствуй, избушка на курьих ножках! Привет! – поздоровался я со сторожкой. – Баба-яга здесь или съехала?

На крыше в кружевье мха цвел запоздалый одуванчик – радостный, как майский. Жить призывал – жить! жить!

– Солнце, птицы, света звон... Мир лесной, прими поклон! – продекламировал я тоже радостно, соврав, по настроению, о звоне света.

– Тук-тук? – спросил меня дятел с сухого дерева. – Тук-тук-тук?

– Ты о чем, приятель? Ладно, побеседуем потом с тобой.

Прилетел шмель, очевидно, поздороваться с новичком в лесу, басовито прогудел мимо; кажется, я не понравился ему. У шмелей даже голос мохнатый. В ближних кустах что-то пошевелилось...

Сторожка была бревенчатая, рубленая в лапу, как деревенские избы. Угасает, согнута. И в воображении уже дымок из трубы, тепло, уют, запах трав... Чего еще душе, ищущей покоя? Обхожу сторожку: чтоб кошмары не снились в ней.

– Что смотришь на меня так удивленно, убогая? Не ожидала увидеть у себя человека?

Сыростью, и плесенью, и птичьим пометом дохнуло из избушки на курьих ножках, из сумрака затхлого, когда я вошел. Всполошенные пичуги бросились врассыпную – в дверь, в окна, а одна, совсем заполошная, так прошлась крылом по моей щеке, словно ударила. Я остановился в растерянности. Какой разор! Окна выбиты, дверь, на одной петле, пол в пометных стружьях, искореженная фанера валяется с барашками отслоений... Но есть печка, даже обои сохранились, с махорочно-никотиновыми цветочками, как плевками.

Между открытой дверью и проемами окон воздух зашевелился, словно души прошлого оживали...

– Что ж ты такая хреновенькая, избушка на курьих ножках? Недаром лесники, – им сказали, что я писатель, – смущены были, когда говорили о тебе.

В разоре таком жить невозможно. Но в балках на Дальнем Востоке – на Колыме и Чукотке – тоже невозможно было жить, однако жил же. На Колыме мой балок, обитый толем, черный, как монах в рясе, стоял на перевале между бухтой Нагаева и улицей, соединявшейся с колымской трассой; с одной стороны море Охотское с его свинцово-тяжелыми темными волнами, а с другой – бараки гулаговские и многоэтажки на сваях, уже новые – Магадан. У входа в бухту возвышалась сопка с красивой вершиной-коронай – Каменный Венец.

А на Чукотке, в Анадыре, балок мой, тоже черный, в толе, был на косе между лиманом и речкой Казачкой, которая в морские приливы течет вспять: от устья к своему истоку – от лимана в тундру, и вода в ней то пресная, то соленая-горькая. И эта соленая-горькая вода подступала в приливы к самому порогу. Летом окна, и крыша, и стены балка были мокрые от дождей и брызг с волн лиманских, а в штормы еще и в пене; зимой же, в пурги – в снегу по самую макушку, и впечатление было такое, что на косе всегда ненастье. В верховье Казачки виднелась сопка, названная землепроходцами Святым Дионисием. Как она, одинокая, могла образоваться в открытой тундре? Таинственная гора. Смотрит она за лиман, на гряде сопочную на том берегу – Золотой хребет, куда из Анадыря убежал я от перестройки.

Да, не для жизни сторожка эта брошенная, но когда есть печка, а вокруг дрова и уже зажжен огонь, когда пол выскоблен и вымыт, гнездом уложен в углу еловый лапник и на него

поставлена палатка, спальный развернут мешок, когда пахнет свежей хвоей, очищающей и исцеляющей, и воздух от тепла стал мягким до нежности, то вот уже и жизнь! Город, в котором я родился, походил на большое село с несколькими церквями, из которых действующей была только одна, и я с детства помню и запах дров-поленьев с дымком домашним, и свет-жар огня с его отблесками таинственными. Огонь и чистота всегда были волшебниками в моей жизни; огонь я люблю даже тогда, когда он страшен, но особенно тот, который сам разожжешь. Вот и чайник уже закипел.

Напившись чаю, я влезаю в свою палатку-односпалку и подкладываю под голову рюкзак. Сколько хлопот! Утомляет суета. Глаза закрываются, и в сторожке пахнет хвоей уже не только еловой, но и кедровой. Жаль, что нет со мною сейчас стланика северного – кедра молодости моей... Рюкзак под головой пахнет дымом. С ним, студенческим, мы не расстаемся.

– Опять у тебя, старик, новая начинается жизнь! – обращаюсь я к себе так, как в молодости мы обращались друг к другу и ко всем, кому не было тридцати.

Это обращение перешло к нам от предшественников. У нашего же поколения не было слов запоминающихся, крылатых... Заново свою жизнь начинал я не раз: в поездах, в общежитиях, вагончиках передвижных, а теперь вот, выходит, и в лесной сторожке.

– Не слишком ли ты шутивата-игривата, судьба?

На следующий день из города, который в пяти километрах, я принес парниковую пленку для окон, клеенку, пилу и топор, запахло в сторожке пивом, воблой, а вечером и сушеными грибами, полынью, пучок которой я подвесил над входом в палатку. Вешалка появилась – такая же, какая была у меня в балках магаданском и анадырском: три гвоздя у двери. Канистры полиэтиленовые носят мне воду из родника, а для воды дождевой я прикатил железную бочку с брошенных огородов под лесом. Обрастаю и мебелью – чурбаками: три составленных чурбака – стол, еще два – стулья, а чурбаки под березами – кресла, как на даче. Дрова я беру у сосны, павшей поперек тропы в тридцати-сорока шагах от сторожки; топить можно бы сушняком, валяющимся всюду, но сушняк мертв, а сосна пахнет живицей.

Накрываю чурбаковый стол клеенкой. Свеча, листы чистой бумаги – повесть буду писать. Тут же и шахматы магнитные, выписанные когда-то мною из Риги. Сосновые поленья горят скворчаще, постреливают, а из печки, из щели высовываются-выглядывают огненные язычки, словно дразнят. В дверь открытую видна на небе ослепительная полоса лимонного цвета – закат... «Если вспугнутые пичуги вернуться, то мы с ними уживемся», – думаю я и верю, что и птицы могут вернуться, и что уживемся; и вдруг: «А петли-то для двери я не купил! Ладно, завтра куплю, когда пойду в город на почту и за пивом».

И в первую же неделю в сторожке, между палаткой и махорочно-никотиновыми обоями, появилась паутина – паук поселился, но

на глаза не показывается. Пусть живет, оберегом будет от мух!

На журавлиный клин похож Лосинский лес там, где речка Воря впадает в Клязьму, образуя красивый угол – междуречное затишье. Воря светлее, а Клязьма темнее, глубже, но обе уже не те, какими были они, скажем, при Петре Первом, наезжавшем в эти места – на завод царский на Клязьме, где дубили лосиные шкуры для армии, и в усадьбу на Воре вельможи – астронома, химика и математика, прозванного в народе колдуном. Не разливаются уже ни Клязьма, ни Воря весной в половодье так, что не только утки и гуси, но и лебеди на пролетах останавливались на широких разливах, как на озерах. Камышом, вербами и ольхой зарастают любимицы Петра.

Но на Клязьме еще сохранились валуны петровской плотины, а в усадьбе вельможи теперь профсоюзный санаторий. Сохранилось то время и в памяти людской, но не без причуды: например, в названии города, уже советского, соединены те, чьи шкуры дубили, с тем, кто дубил их – Лосино-Петровский.

В усадьбу колдуна я хожу к роднику, а к плотине разрушенной влечет чувство. Стою и слушаю шум переката, шум воды бегущей... Над Клязьмою чайки парят молчаливо и кажутся печальными. Они напоминают мне иных чаек, далеких-далеких, которых я, возможно, уже не увижу никогда. Подмосковные тоже не залетают ко мне в лес. «Из всех отверженных птицы самые гонимые...» Кто это сказал? Не могу вспомнить и перестаю думать о чайках.

Валуны на перекате как головы великанов в шлемах, и когда на них смотришь долго, то чудится и чувствуешь, как из шумящей воды, из пены выходят великаны-богатыри... Сказано уже и об этом – о богатырях-великанах, выходящих из волн моря. Перестаю думать и о них. Думаю о реке. Сбросами подогреваемая, Клязьма здесь не замерзает зимой даже в стын, и как, должно, мучительно ей бежать обнаженной в снегах, в туманах морозных! Нет, не мои мысли и чувства, не мои... Не могу быть здешним. Трясогузка в трех шагах от меня пьет из лужицы, покачиваясь на тонких ножках и удерживая равновесие хвостом. Возвращаюсь в лес.

Лосинский лес соединяется с лесами ногинскими и дальше с владимирскими; произнеси слово тут, и эти ели, березы и рябины понесут его во все дали и ширь... Значит, слова, и мысли, и чувства здесь быть должны тоже во всю ширь и дали, глубокими, вечными... И это смущает меня.

После больницы я стал бояться змей, и хотя лосинцы из пригорода-слободы утверждают, что в их лесу змей нет, я не выхожу из сторожки без высоких сапог, боюсь даже ужей. Знаю, как отличить их от змей, но при встрече всякий раз теряюсь, забывая, что они не ядовиты. Сапоги надеваю еще и потому, что в лесу много сырых мест и болотцев, из которых одно у самой сторожки. В нем в первый же день я наткнулся на жабу, вытаращенно глядевшую на меня из косматой осоки и казавшуюся тоже косматой.

Болотце было засохшее, но, видно, воображало себя настоящим и после дождей пахло в самом деле болотом. Над ним ель наклоненная, которой пора было упасть, но она не падала; дальше виляет серая песчаная дорога в деревеньку вымирающую и превращаемую городом в дачи; за дорогом просека широкая, вся изрытая, но еще не заросшая – газопровод. И то, что рядом, в земле, невидимо течет энергия с востока, волнует меня. И света больше, и воздух легче на просеке этой, а когда в небе облака, то за ними чувствовалось солнце.

По ходу газопровода белеет одинокое дерево, очевидно тополь, и я все собираюсь пойти к нему посмотреть, действительно ли тополь и почему он как восковой. Но всякий раз, не доходя, сворачиваю в лес и уже шагов через сто-двести сбиваюсь с направления; иду прямо и прямо, а оказываюсь не там, куда шел, и удивляюсь: не дебри же Лосинский лес, чтобы блуждать в нем, а я блуждаю. Не знаю я лесов, но чувствую.

Вхожу в редколесье, пней больше, чем деревьев; с одной стороны дальние крики московских электричек, а с другой, поближе, автотрассы шум... Не от этого ли беспокойства тут нет ни Бабы-яги, ни леших? Ушли и лесники. Впрочем, лесники ушли, должно, из-за того, что усох родник. Махонький был родничок, без голоса, но когда его не стало, словно душа ушла из леса.

Троп много, но я хожу как попало, опыт кое-какой уже есть. Знаю, что за опятами идти нужно за вымирающую деревеньку, в березовый лес— сухостой, а в болоте с именем женским Варварка, за ЛЭП – линией электропередач – подберезовики-черноголовики. Сыроежки же и свинушки-жирнушки везде-всюду, не вы их ищите, а они сами к вам выбегают, бросаясь под ноги.

Как ни кружу я в лесу, всегда выйду к березовой поляне. Березам я рад, и они, кажется, рады мне; ветви поникшие, а листва веселая, гомонит, и светлынь такая, что невозможно не зажмуриться – словно вошел вдруг в мир яркой чистоты. Среди удивительных красавиц этих чувствуешь себя тоже светлым, и бодрым, и красивым. О березе народ поет: «Первое дело – мир освещать, второе дело – крик утешать, третье дело – больных исцелять, четвертое дело – чистоту соблюдать», и во всех этих делах березовых я нуждаюсь. Не написать ли что-нибудь

и о березах? Не о том, понятно, о чем спето уже, а, скажем, о бересте, о ее необыкновенной чувствительности к свету, огню... И о том, что сохраняется береста дольше самого дерева.

Рядом с березами ельник, такой густой и темный, что в нем не растет трава, пахнет прелею. Тянет и сюда, в покой и тишь, где птицы не поют, а молятся. Как печально, должно, в сумраке этом, когда в лесу поют кукушки, горлицы и особенно иволги! На влажном мху мои следы обозначаются, но не сохраняются – упругим выдавливаются покровом.

Выхожу на вырубку и вижу, каким станет лес в будущем. Все смешалось – березы, и ели, и рябины, осины... А вот клен, вот дубок, хотя поблизости нет ни дубов, ни кленов; птицы, ясно, принесли, как аисты приносят детей. Среди молодежи не обречены и согнутые деревья: с согнутой стороны кольца растут быстрее – выпрямляются!

Иду дальше, забыв о направлении... У четы кустов, за которыми заросли, семейство подосиновиков, все больше чельши – подростки да малыши. Прячутся, а сами на виду: глядите, мол, какие мы славные! И в самом деле славные, как на подбор – крепкие, мясистые. На одном из малышей лист опавший.

– Отчего нарядился так, красавец? От земли поднялся только, а уже в старой шляпе. Прикрываю оранжевых травой – пусть растут-вырастают.

Со свечой

Стучит пестрый дятел. Видел я в лесу и черного, на тундрового ворона похож, но, в отличие от ворона, не смотрит в глаза человеку. Под мертвым деревом, где он долбил, кора ободрана грубыми кусками, каких не бывает от дятлов пестрых. Оставляют следы и лоси, а кабаны роют под деревьями, и все это вблизи сторожки, не боятся человека. Меня они, может, считают тоже зверем, прибудным? Белки же заявляются прямо к сторожке, парочка нахальная. Шастают с деревьев на землю, выглядывают из травы и подбегают к самым дверям, но порог не переступают. С ними я разговариваю, и они отвечают – цокают, но угощенья с рук моих не берут. Оставляю им галеты на чурбаках под березами.

Ночи темнее и длиннее уже заметно, птиц становится меньше, туманы, листопад начался. Кусты засквозили и открылась-засеребрилась паутина, летает в лесу. Жизнь у меня теперь как замкнутая цепь: рассвет, утро, день, вечер, ночь и снова рассвет, и кажется, что наше существование – это всего лишь смена тьмы и света. Или наоборот, света и тьмы? От осенней листвы опадающей земля красива, но по-особенному – как женщина молодящаяся. Грустная красота! Спешить мне некуда и незачем, но я то и дело поглядываю-взглядываю на часы. Зачем? Говорят, когда на часы смотришь часто, то, значит, нет чувства времени, но у меня было же, было это чувство! Выходит, не мое теперь время.

Склоняюсь над листами бумаги, приготовленными для повести, верчу пишущую ручку – душа молчит, и я знаю, почему она молчит: нет у повести заголовка-свечи, поэтому и музыка не звучит в душе, а без музыки не рождаются слова... Знакомо мне такое состояние, и я знаю, как с ним бороться; произношу громко: «Депрессия!» – и гоню прочь, отвлекаюсь на погоду. Пасмурно, но в небе, на западе, я ищу полосу или хотя бы полоску голубую – обещание хорошего... Чвакнуло что-то. Или квакнуло? Не та ли жаба, что тарасилась на меня из осоки болотной? Но квакают ли древесные жабы?

По ночам у меня бессонница, и потому днем я часто засыпаю коротко под березами – как в бездну проваливаюсь минут на пятнадцать-двадцать. И судя по снам, подсознание мое после больницы все еще беспокойно: те же птицы мертвые снятся, кричащие рты, вандалы... В этих снах я как в паутине. Неожиданно приснился Петр Первый – на корабле с парусами. Море бурное, а он на палубе в белой рубахе распахнутой, с развевающимися волосами на ветру; в трубу подозрную смотрит вдаль, а на берегу карлик с пятном на лбу, волочит по песку топор... И не видит Великий карлика зловещего!

Сны и лгут. В золотые горы бежал я от перестройки зимой, в феврале, а приснилось – летом: переплываю-де лиман анадырский в утлой лодчонке-плоскодонке, непригодной для большой воды. Ветер, волны, а я, на берег выброшенный, все хватаюсь и хватаюсь за ветви кедра-стланика на склоне сопки, карабкаюсь к вершине, но волны, догоняя и наваливаясь, утягивают меня обратно... И удивительно, я стал верить, что бежал тогда действительно летом. Подшучивает надо мной воображение!

Проснешься и чувствуешь, даже ощущаешь – рядом кто-то. Смотришь-всматриваешься вокруг: деревья только... Как люди. Стряхнешь с себя осенние листья и с минуту сидишь с закрытыми глазами. Потом иду в сторожку пить пиво и играю с собою в шахматы. В игре я нетерпелив, тороплив, жертвую и пешки и фигуры; дебют, минуя миттельшпиль, переходит в эндшпиль, и я всегда выигрываю, не замечая, что проигрываю тоже я.

А однажды на рассвете послышались лебединые клики, так явственно, что я выбежал из сторожки. Небо и даль были пусты. Почудилось! И вспомнилось, как в детстве, глядя вслед белой стае, красиво улетающей, я заплакал оттого, что не было у меня крыльев. В сторожку возвращаться не хотелось, и я стоял и смотрел в пустое небо и даль пустую... А небо над лесом не такое высокое, как над тундрой!

Привыкая к Воре, Клязьме и даже дятлу, я никогда не смогу привыкнуть к ночным теням в лесу. Они курят, разговаривают, кашляют, бранятся в темноте, а потом слышны пилы и топоры воровские. И кажется, что это сами деревья по ночам рубят и пилят друг друга, кашляя и бранясь. Не привыкну и к летучим мышам, появившимся со стороны города, где они, как говорили, поселились в котельной камвольного комбината, разоренного перестройкой. В моем представлении все летучие мыши вампиры, и когда темные вампиры эти после сумерек, как призраки, возникали в небе над сторожкой, выслеживая добычу, то становилось не по себе, жутко.

А чайки, должно, уже улетели, не вижу их.

Пламя в печке опадает, ослабевает, жар только от углей. Зажигаю свечу, и глобус на полу, с одной стороны освещенный, а с другой в тени, видится раздвоенным – и светлым и темным: Земля в призрачном каком-то пространстве... Глобус этот появился у меня совершенно случайно, неожиданно – в Москве, на Черкизовском рынке, куда я ездил за термосом и ветровкой.

– Чего-то купить хочешь? Поезжай в Москву, на Черкизон, – посоветовали мне в городе. – На Черкизоне все есть и дешевле, чем на рынках «Лужников» и стадиона «Динамо».

– Черкизон? – удивился я, слыша слово впервые.

– Он, как «Динамо» и «Лужники», спортивный тоже: торговцы спорткомплекс отхватили в Черкизове.

– Любопытно!

И я поехал на Черкизон: автобусом до Москвы час, потом от станции метро «Щелковская» на троллейбусе минут пятнадцать-двадцать, и вот с моста я спускаюсь по крутой лестнице в хаотическое движение человеческой массы. Рынок Черкизовский, а на входе широко и крупно написано: «Сиреневая ярмарка». Давно не дышал я воздухом цветущей сирени, воздухом мая, весны торжествующей!

– Постаранься!

В спину толчок, грубый, хамский; оборачиваюсь: тележка, тюк на тюке – толкающего не видно. Человек невидим – орут тюки:

– Постаранься! Дар-рогу!

Не прошел я и десяти шагов, как опять: «Постаранься», уже громче, требовательнее... Повелительно! И пошло-поехало: орут, толкают, на ноги наступают и ни извините, ни простите, ни пожалуйста – словно здесь было изгнано все человеческое.

Над мангалами скворчат туши бараны, жир горит, дымит и чадит, все в угаре, сверк ножей... И страсти, страсти – гвалт вавилонский! Алла... алла-ла... алла-ла-ла... Зазывают, тычут в бока, хватают за руки, за одежду, клянутся, божатся – и обманывают, обманывают... И цвет кожи, и языки, и боги разные были тут, а идол один – Золотой телец.

А если покупатель – лох-лопух, как я, то это уже не торговля, а удовольствие-развлечение – сам, тепленький, идет в объятия обмана! В детстве я помню разговоры об одной торговке-спекулянтке, которая, придя с базара домой и закрывшись на все замки и запоры, зашторив окна, вываливала на стол рубли разнопахнувшие и спрашивала их: «Что мы имеем с гусь?» На Черкизоне я чувствовал себя таким гусем, и удивительно – как-то сразу, с первого взгляда здесь понимали, что гусь я тощий, хотя и одет я был как все, и в лице моем ничего особенного, обыкновенный человек. Очевидно, торговцы обладают интуицией сродни шулерской.

От чада, толкотни, пестроты, бестолковых блужданий в рядах торговых, от изумления и растерянности у меня в голове шумело, в ушах шелкало, а в глазах мерцало, и все казалось сизым. Хожу-брожу, ничего не соображаю! И как нарочно, ни термосов, ни ветровок нигде; купил будильник, хотя у меня есть часы, дальневосточные еще, с браслетом нержавеющей. Купил потому, должно, что будильник был белый, тоже как нержавеющей. Но он оказался без внутренностей, заменили синим, а я взял оранжевый; завел его и послушал ход: как стук дятла в пустом помещении. Потом купил веревку... И не заметил, как снова очутился у «Сиреновой

ярмарки», у входа, который был и выходом, и остановился в размышлении, не вернуться ли в торговые ряды, чтобы все-таки купить ветровку и термос.

– Каму планэта? Каму планэта?

Однорукий мальчик-подросток лет двенадцати, по виду цыганенок, трясет над барашковой своей головой глобусом, как бубном.

– Планэта каму? Продаецца... Даром!

И он уже пробежал было мимо, вдруг остановился.

– Зачем тут с такими глазами? – спросил он меня. – Дай курить.

– Не курю и тебе не советую, с детства состаришься.

Барашек ткнул глобусом меня в живот.

– Бери – даром!

Я заплатил. Шельмец-то по-русски разговаривал нормально, а о «планэте» кривлялся, подражая, видно, кому-то.

– Откуда ты, торговый?

– Бежинец! – засмеялся он, кривляясь снова и убегая.

– Краденое вы купили, – сказала пожилая женщина с лицом учительницы, торговавшая с рук свистульками у входа-выхода. – Мальчик этот – вор, его тут все знают.

– Что же делать теперь?

Учительница отвернулась. Оглядевшись и не увидев ни одного лица, к которому можно было бы обратиться, я торопливо, в позоре, сунул глобус в рюкзак, где тикал оранжевый будильник, и, пригнувшись-согнувшись, сбиваясь с дыхания, как вор, побежал с Черкизона. В минуты отчаяния одни становятся решительными, другие плачут, или хохочут, или поют, третьи в медитацию погружаются, а я бегу.

И когда я вспоминал после о том бегстве своем из столицы, то было и смешно, и чувство ужаса. Растерянный, униженный всклокоченный седой человек, купивший не то, что хотел, да еще и краденое, бежит по мосту, а на спине у него, в рюкзаке, глобус... Как горб.

Под глобусом зашевелился и громко зазвенел будильник, но никто не обратил на это внимания, все спешили.

Подбрасываю в печку поленья, заменяю в консервной банке желтый огарок на свечу белую, и все это как во сне; топку не закрываю, чтобы видеть огонь. Странно! Огонь я люблю, особенно в кострах, но никогда не замечал, как от углей возгорается пламя. Не заметил и сейчас, пламя уже бежит по шелушащейся сосновой коре.

Пламя, угли, пепел... Такие и мысли. Замечено, что, перед тем как погаснуть, спички вспыхивают. Не вспыхивает ли и душа наша в час свой прощальный?.. Из щели в печке высовываются и язычки и носики огненные, как солнечные, и кажется, что сейчас в сторожке послышится детский смех. Не выпить ли пива?

– И в шахматы сыграй... Гамбит! – подсказывает иронично внутренний голос-сверчок. – Мхом обрастаешь.

Еще день-два, и судя по возрастающей иронии и по раздражению, сверчок будет на меня уже покрикивать. В самом деле, пора всерьез братья за повесть. Первая моя повесть была о любви и верности – о лесничой кринице; вторая – о розовой чайке, романтике; третья – о мечте, земле лебединой... А теперь о чем? О времени, когда летаем мы во сне – о молодости!

Помоги мне, память, быть всегда с молодостью! Я склоняюсь над листами чистыми, но вдохновение не очень, а точнее – нет его. На такие случаи у меня со студенческого времени есть ключ, заимствованный у классика: «Если звезды зажигают, значит, это кому-то нужно?..» И я зажигаю звезды, а они меня. Упрощается задача тем, что сторожка, если зажмуриться, похожа на балки колымский и чукотский, в которых по ночам, прячась от дневных преград, не позволявших мне свободно заниматься художественным творчеством, я писал-сочинял стихи, повести, рассказы, новеллы... В балках был запах каменного угля, а здесь – смолы.

– Напиши наконец хотя бы одну строчку – первую, – требует сверчок.

Легко сказать – первая строчка! Это же зачин; с настроением особенным должна быть первая, поэтической, изящной... И вспомнилось: «Изыскан, как прохвост!» – сказал о себе один поэт в шутку, когда его назвали изящным.

– Не мудрствуй! – сердится сверчок. – Не мудрствуй! Пиши так, как дышишь...

И я написал крупно: «Повесть о моем поколении». И зачеркнул – шапка не по Сеньке; зачеркнул и второй заголовок: «Повесть о лишних людях» – не ново, не вдохновляет и буквы кривые. Но вот наконец заголовок-свеча: «Тропой романтического народа»; эпитафией будет строка из моего стихотворения неоконченного о мерцающем счастье, а зачин – о кедре-стланнике дальневосточном.

«Осенью на крыше лесной сторожки зацвел запоздалый одуванчик», – написал я первую строку. Для зачина подходит, но не по замыслу. А, пусть! Бог с ними, повестями! Отпускаю тебя, душа, на волю, лети, птица, куда хочешь. Буквы взлетают, скачут, пляшут – не узнаю свой почерк... Послышались приближающиеся голоса мужские, сиплый и хрипый.

– Глядь-ка, Гофра, в сторожке свет. Сиделец-то сидит, не уходит, – говорил сиплый, точно дул в простуженную трубу. – Турнуть бы его, шугануть, пока он чего не спалил тут.

– Тебе, Махорка, дай волю, так ты бы всех взашей да вон, – хрипый закашлялся. – Кривой ты, Махорка! От лесников он, вроде как писатель будто. Тихий, не спалит.

– И чего приبلудился сюда, приبلуда!

– А по мне, так и пусть и пускай. Лучше чуди, чем как Мирон: сук да удавка в лесу.

Голоса удалялись.

– Таких ныне кругом и кругом... На вид вроде как в себе, а меж и промеж людей – не в себе, – и уже слышен был только кашель.

Ночь, третий час, бессонница. Не спится и в лесу кому-то: вкрики, скрипы, вздохи... За пленкой окна мутно-бледный серпик месяца, рожки влево – луна зарождалась.

Призраки-эфемеры

Утро ясное, солнечное. От росы трава и листья на деревьях свежи и светятся. В лесу аукают-перекликаются грибники, и особенно часты голоса, похожие на птички – детские. Громко стучит дятел. Встревоженно прокричала женщина невдалеке, ей откликнулся плач, и снова разноголосье лесное-грибное:

– Ауу!.. Ауу!

Вместе же они и ищут друг друга! Я сижу над рукописью. Когда воспоминания были о лебедях, чайках розовых, о романтике и мечтах, то чувства опережали мысли и продвигались легко, вереницы слов и фраз сами собой, как во сне волшебном, выстраивались в стройные красивые ряды. Все казалось ясным и ярким. Но вот из-за леса показалось облачко, потом облака надвинулись, закрыв небо, вспомнились гроза с пылью, мертвые птицы... Красивое стало сопротивляться, пищущая рука отяжелела, в сердце знакомая боль. Сидеть на чурбаке, уставившись неподвижно в белую бумагу, на которой уже ничего не создавалось, стало мучительно, и я вышел из сторожки. Поброжу в лесу, встряхнусь.

Напротив на бузине висит хвостом кверху синица, в сторожку заглядывает; вспорхнула от меня на рябину и поглядывает оттуда, не улетая. Не из тех ли она пичуг, которых я всполошил в свой первый день лесной?

– Возвращайся, подруга, возвращайся, – предложил я ей. – Уживемся.

Иду лесом куда глаза глядят, голова понурена. Под ногами потрескивает валежник, шуршит трава усыхающая, в рот лезет летающая паутина. «Почему жизнь складывается не так, как хочется? – думаю. – Кто колдует? И есть ли приметы-признаки или хотя бы намеки на то, какой у человека будет судьба?»

Птица размером со скворца суетливо бегаёт-кружит по стволу ели головою вниз; подпустила меня близко и вообще ведет себя так, как будто мы с ней знакомы. Там синица хвостом кверху, а эта тут вниз головою – нравится им, что ли, быть опрокинутыми? Кто ты, птаха? Свиристель? Она меня знает, а я ее нет. Неловко, в одном же лесу живем. Небо совсем заволкло, уныло стало, и казалось, что солнца уже не будет никогда.

Плутаю по тропам путанным и очутился в незнакомом кустарнике: лес весь истоптан цивилизацией, а водит, как леший! Шумнул ветер, и упали капли дождя. Свернув на голоса электричек, я вышел на край леса с клязьминской стороны, нашел знакомую тропу и вернулся в сторожку.

В дождь, к вечеру, в сторожку вошли двое – черный и белый мокрые капюшоны.

– Мир дому! – произнес женский голос нараспев, по-деревенски.

Белый капюшон откинулся, и я увидел темный платок и лицо, которое при свече то ли казалось, то ли на самом деле было тоже темным, строгим, словно с иконы. Красивое лицо.

– Вот на свет ваш, от дождя... Не прогоните? – сказал из-под черного капюшона голос высокий, картавя так, будто передразнивал картавых, и я почувствовал на себе вонзающе-пронзительный и вроде как ироничный взгляд, очень неприятный.

Не увидев в красном углу ничего, кроме паутины, женщина вздохнула, перекрестилась и поклонилась свече в банке консервной, поклонилась и котомка на ее спине. Молчание мое, видно, смутило, потому что женщина снова поклонилась и произнесла: «Мир дому», уже не крестясь. Голос у нее был из тех глубоких, какие называют грудными, в монастырях такие голоса поют о вечном.

– Светят тут, Мария, кажется, самому себе только, – в голосе черного капюшона была насмешка.

Вот так гость! Порог едва переступил, неожиданный-негаданный, и уже иронизирует. Да ему и приглашение, похоже, не нужно – уже снимает с себя что-то на лямках.

– Вы кто? – спросил я.

Мне не ответили. Так я познакомился с Марией и человеком, который не назвал себя – Странником.

На черкизоновской веревке развесили мокрые плащи, чтобы они стекали и сохли, и зажгли еще две свечи. И спустя минут двадцать в центре сторожки была уже одна Мария, а мы со Странником вроде как лишние. С крестьянской привычностью и простотой Мария взялась в первую очередь за чистоту; выставила за дверь мои пивные бутылки пустые, вымыла пол дождевой водой и принялась чистить чайник. Она напоминала птицу, навещающую уют в гнезде, не задумываясь над тем, постоянное или временное это гнездо. В ее движениях, и в выражении лица, и в тоне голоса, перемещавшего нас со Странником в сторожке по ходу уборки – во всем чувствовалась женщина-хозяйка, которую оторвали зачем-то от ее собственного очага.

Сели ужинать. От моих галет, консервов и сгущенки они отказались, чай пили с «травушками», медом и сухими лепешками, которые Мария называла хлебцами.

– Ландорики? – пошутил я, попробовав хлебец, оказавшийся пресным.

Они переглянулись – не поняли, и я стал рассказывать о ландориках; о том, как на Крайнем Севере геологи-полевики пекут их в кострах на углях, раскаленных камнях и всякими-прочими способами, кроме цивилизованных, и помня обиду Леши-Васину, уже не называл ландорики обыкновенными лепешками.

Рассказывал я, подражая геологам, весело-шутливо, но получалось не так как-то; должно быть, потому что я говорил о смешном, а геологи не смеются над ландориками, подшучивают только, как обыкновенно подшучивают над наивными, добродушными друзьями, в самом деле смешными, но верными и испытанными, которые не оставят в беде, придут всегда на помощь, выручат и спасут. В одном из северных своих очерков о геологах я, помню, втиснул песенку о ландориках, мною сочиненную, с припевом: «Ландорчики-ландорики похожи на мозолики!» – и выдал эту песенку за фольклор геологов-полевиков – солгал, и давняя та ложь и ерничанье, пошлость вспомнились теперь. Мария сделала вид, что не заметила моего смущения, а Странник не обратил внимания.

Теперь за ужином, при трех свечах, я видел перед собой уже немолодую крупную женщину в темном, когда-то, видно, действительно красивую, и очень малорослого человечка, почти карлика, в ярко-цветной – цветисто-цветастой курточке, похожей и на детскую, и на актерскую, с разнофирменными нашлепками. Монахиня и клоун!

Лицу карлика было лет тридцать, лысине до затылка все пятьдесят, а ростом ребенок; голова ярко-рыжая, а веки, ресницы и волосики на пальцах рук соломенные – чиркни спичкой и вспыхнет. Широкий рот неприятно кривился, а пальцы с волосиками шевелились как-то уж слишком нервно, беспокойно, встревоженно, и выражение лица было странное: улыбается, а всмотришься – усмешка, тоже неприятно. Выпуклые, точно выпученные, его глаза были бесцветны до прозрачности, с блеском, искрами; раз и второй они взглянули на меня пронзительно... Не люблю пронзительных взглядов!

Эти двое чувствовали друг друга так, что почти не общались словами. Такая взаимность возможна только между близкими. Кто они? Муж и жена? Быть не может! Брат и сестра? Но не представишь женщину, которая могла родить таких разных детей, не родственных совершенно, взаимоисключающих. Мария обмолвилась о святых местах. Богомольцы? Но Странник произнес: «Человеку надеяться не на что, кроме знаний». Не богомольцы. Погорельцы? Беженцы?.. Перед глазами встал бежинец с Черкизона, барашек однорукый, вор, и я не стал спрашивать. Походили они на людей, которые по какой-то ироничной случайности встретились и вот вместе идут или бегут куда-то...

Так как ночь мне предстояла, по обыкновению, бессонная, то я предложил им свою палатку, но мое предложение осталось без ответа. На вымытом полу у стен противоположных Мария развернула две подстилки, оказавшиеся «конвертами» – Страннику и себе. В сравне-

нии с их аскетизмом мое гнездо из хвои, палатки и спального мешка было верхом удобства! После полуночи дождь стал затихать, и я слышал, как он, уходя-удаляясь, еще долго моросил, и утром лес был мокрым и продроженным. Деревья как русалки! Взъерошенные облака и лохмотья убежали, небо очищалось, но не светлело. Когда я высунулся из палатки, Мария была уже на ногах. В печке горел огонь, и поленья не трещали, покойный был огонь, прирученный; в кастрюльке закипало что-то – лечебные корни, как выяснилось потом. Странник, не открывая глаз, пожаловался из своего «конверта» на мух, не дававших ему спать ночью, хотя мух в сторожке не было.

Отвар в кастрюльке был приготовлен для Странника, и он пил его кривясь, как капризный ребенок. Мария перебинтовала ему язву на ноге, промыв ее тем же отваром из кастрюльки и смазав, судя по цвету и запаху, облепиховым маслом из стеклянного пузырька. Уходить они собрались к обеду, когда стряхнется мокрень.

– И со-олнышко, может, проглянет, к обеду-то, – нараспев, по-деревенски проговорила Мария за завтраком.

Потом она сняла с веревки плащи и стала их чистить.

Молва ли бежала впереди или грибники и тени ночные разнесли слух-весть, но в слободе лосинской уже знали о странниках. Пришли к сторожке трое: женщина лет пятидесяти, одетая в обвислую кофту, очень худая, и жухлая старуха с клюкой. Из-за их спин, как пугливый, но любопытный зверек, выглядывала прыщеватая и зареванная девочка. Мария вышла к ним, и те разговаривали с ней так, как будто доверяли тайну какую-то особенную. Участвовала в разговоре и девочка с серьезным, взрослым выражением лица. Достав из своей котомки мешочки разноцветные и сказав:

– К обеду вернусь, – Мария ушла со слободскими. Девочка, плетясь позади, старалась ступать в след Марии и сбивалась с шага, словно не умела ходить, вдруг остановилась и оглянулась. Я помахал ей рукой, девочка испугалась и, догоняя женщин, упала. Боже мой, дети пугаются уже меня!

А Странник, Странник-то! Забился при слободских в угол, за веревку и стоял там, пока те не ушли. И теперь раз за разом пил воду, хотя часа не прошло после чая. Не из «наших» ли, не из печальных этот рыжий карлик? Не только мух, но и людей боится.

Без Марии в сторожке сразу стало как-то не так – неуютно, пусто, а Странник – лишним. Оба мы молчали. Если человечек этот в самом деле из печальных, то общение с ним неизвестно как может обернуться – вдруг он припадочный. Но и молчать вроде бы неприлично, и я заговорил о погоде: о том, что скоро дожди станут долгими, потом снег, а в холод не очень-то постранствуешь...

– В родные места идете вы с Марией? – спросил я. – Домой, в тепло... Или вы из дому? Странник не ответил.

– А у меня вот ни кола, ни двора...

И снова в ответ ни звука. Я склонился над рукописью, хотя знал, что не напишу ни строчки – и в душе пусто, и не сосредоточусь при постороннем, разобранный я весь какой-то... И вдруг слышу:

– Вы писатель?

– Журналист, но у меня есть и художественное – рассказы, повести...

– Литератор, значит. И о чем же вы пишете, литератор? Мемуары?

– Чтоб мемуары писать, быть нужно человеком необыкновенным, а я из тысяч и тысяч, самый обыкновенный... Не пишу, а мучаюсь. Ни один жанр не берет в себя мой материал; в какую дверь ни торкнусь – не открывается. Прекрасное у меня почему-то всегда становится жертвой, счастье – горем, радость – печалью... Все опрокинуто, словно не на ногах я на земле, а на голове!

– «Тропой романтического народа», – прочитал Странник вслух не без удивления. – Романтического? Вы знали такой народ?

– Советский. Народ-мечтатель.

– Не народ это был, а скопление народов. Народы эволюционны, а скопления нет.

– Всю жизнь я был советским человеком, а по-вашему, меня не было?

– И были и есть, но вас не Советы же родили, не власть, а какой-то из народов, входивших в скопление советское.

– Я из песни «Дети разных народов», разнокровка.

– И я тоже интернационален, но это не значит, что мой папа – «Интернационал».

Разговор становился занятым, и я рассказал известную байку про одессита, который, появившись только на свет, спросил: «А что я буду иметь с этого?» Спросил он и умирая: «А мне это было надо?» Человек жил, ел, пил, дышал и не знал, зачем он на свете.

– То же и у меня: родился, учился, работал, а зачем? Ни одна мечта не сбылась!

– Минуты бывают тяжелые невыносимо, – продолжал я с откровенностью, какая случается нередко с первыми встречными. – И не без головы же был. Уже студентом, на третьем курсе, я знал, зачем и как жить. Представление мое о смысле человеческой жизни состояло из образов, чувств и ощущений. Вот они. Эстетические: образ – красота, чувство – нравится, высшая степень которого любовь, а ощущение – наслаждение; прагматические – польза, целесообразность, порождающая дружбу, и удовольствие; моральные – добро, справедливость и удовлетворение; и наконец, психологические – знание, любопытство и влечение. Это сферы человеческого существования, опрокинуть такую систему невозможно, а между тем, она была опрокинута.

Странник поначалу слушал меня внимательно, потом с улыбкой-усмешкой.

– Студентом вы были, видно, серьезным.

– Учиться я люблю.

– Опрокинута ваша система потому, что она мертва. Не учили вы противоположностей, а без них невозможно никакое существование. Система ваша должна была быть такой: красота и уродство, нравится и не нравится с любовью и ненавистью, наслаждение и отвращение; польза и вред, целесообразность и нецелесообразность с дружбой и враждой, удовольствие и неудовольствие; добро и зло, справедливость и несправедливость, удовлетворение и неудовлетворение; знание и незнание, любопытство и безразличие, влечение и равнодушие. И над всем – прекрасное и безобразное, включающие в себя предыдущее в высших степенях. Но это ценностное, а не познавательное.

Как выяснилось, карлик учился в трех университетах – очно, заочно и в вечернем, не окончив ни одного, что не помешало ему разочароваться в университетских знаниях, и он создал свою собственную систему познания, которую называл переходной.

И Странник заговорил, но не о переходной своей системе, как можно было ожидать, а об исключениях, которые, по его словам, досаждают познанию с первого до последнего шага.

– До того дошло, что мы уже сами внушаем себе: без исключений-де не бывает правил. Но действительность же без исключений! Значит, не должно их быть и в познании.

– Не скажу обо всей действительности, но наша жизнь, человеческая, без исключений не бывает, – возразил я, вовлекаясь не без иронии в разговор, похоже философский.

– Вы это знаете или фраза?

– Как я могу знать то, чего не знает никто. Вот СССР – как было предсказать возникновение его и, особенно, такое пошлое крушение? Не было же ни бурь, ни штормов – в совершенно спокойное время крушение.

– Гибель СССР была предсказуема и предсказывалась. Все, что обусловлено, предсказуемо, а обусловлено все.

– Все-все?

– Вам, я вижу, очень не хочется расставаться с исключениями, нарушающими правила. И в случайности, небось, верите? Исключения указывают на несовершенство, неполноту наших знаний, они первые оппоненты в познании – в этом их назначение, а не правила нарушать.

Странник поднял с пола глобус и, ткнув в него безмянным пальцем, крутанул; и, не выпуская глобус из рук, стал ходить в сторожке по диагонали – от печки к палатке, рассуждая о человеческих разочарованиях и взлетах... И теперь было ясно, что передо мной один из тех страдальцев, которые вечно хлопочут о вечном – о вечном двигателе, вечной душе, бессмертии, отвергая при этом общепризнанное и общепринятое, в особенности основы основ, такие как всемирное тяготение, пространство-время и т. п. В данном случае речь шла о всеобщем познании... Чем меньше в человеческой жизни здравого смысла, тем больше одержимых.

– Есть удивительные эфемеры. Они реальны, существуют, но – как призраки, – говорил Странник, продолжая ходить в сторожке по диагонали. – Это всеобщие стороны. Из них, как из элементов, состоит все – и звезды, и человек, трава, пыль... Этим сторонам все равно, живое или неживое, красота или уродство, польза или вред, добро или зло, но когда мы в жизни задаем вопросы, то обращаться нужно именно к ним – призракам-эфемерам, так как спрашивать больше некого. Они ключ ко всем тайнам, загадкам, чудесам...

– А какие они из себя – призраки-эфемеры?

– Их четыре, две пары: содержание и форма, количество и качество.

Я был разочарован – неново. Это же Гегель. И диалектический материализм, который изучали мы в СССР.

– Почему общеизвестное вы называете призраками-эфемерами?

– Всеобщие стороны, во-первых, в неразрывном единстве, в котором невозможны ни лишнее, ни отсутствие какой-либо из сторон; во-вторых, они противоположны; и наконец, в-третьих, в каждой стороне отражаются все другие, а во всех других – каждая. Отражаемые-отражающие же прозрачны – призраки. А эфемерность этих сторон из-за их изменчивости. Страсть к изменениям у содержания и формы, количества и качества такая, что во всякий момент они уже не прежние в полной мере, оставаясь при этом и самими собой; сказать можно и так: оставаясь самими собой, они непрерывно изменчивы. От всеобщих сторон и у всего существующего тоже страсть к изменениям и прозрачность.

– Так-так, – подтвердил дятел. – Так-так!

Впрочем, стучал он, возможно, вовсе о другом. Знакомо и незнакомо было то, о чем говорил Странник, а когда не совсем понимаешь, о чем тебе говорят-рассказывают, то спасает ирония. «Куручка кудахчет, а яичко не снесла», – подумал я и, словно в ответ, услышал:

– Мыслят все, но не все умеют мыслить. Некоторые даже не знают, что они хомо сапиенс.

Не в мой ли огород камешек?

– Планету проткнете! – сделал я замечание рыжему философу, начавшему снова тыкать пальцем в глобус.

Откуда у одержимых такая убежденность в том, что именно они держат бога за бороду! «Трр... трр...» Это в лесу. И вдруг с шумом: о-охх... – упало что-то. Странник вздрогнул, побледнел и, втолкнув глобус мне в руки, бросился к двери, высунулся наружу: один сапог в сторожке, а другой за порогом. Вскинул голову – не в лес всматривается, а в небо. У болотца ель, должно, упала, уже третье или четвертое дерево падает за время моего отшельничества. «Падающий лес» – заголовок для рассказа или повести, а что, любопытно, померещилось этому чудику?

Сапог, который был в сторожке, переступил порог и двинулся тоже наружу. Оба сапога замерли, потом стали удаляться чуть слышно, словно на ощупь. Ну тип! Хлопочет о всеобщей предсказуемости, без исключений, а сам непредсказуем. Стою и смотрю на глобус, опять странно оказавшийся в моих руках. Чего так всматривался в него карлик?

Тычу в глобус, как Странник, безмянным пальцем – верчу; океаны, материки, острова да меридианы с параллелями... Тычу еще раз, картина та же. Орех не по моим зубам! Возвращаю глобус на пол, после с ним побеседуем... Прошло и двадцать, и тридцать минут – извне ни звука. Пойду погляжу, не случилось ли чего с сапогами-ходоками.

Странник стоял под березами и смотрел на дятла на сосне напротив, а дятел поглядывал на него из-за сучка. Как тихо, покойно, красиво! Листья яркие, будто только теперь, осенью, они были счастливы, в особенности желтые, с солнечным цветом-светом. Но все же чувствовалось, что это прощание... Спросить или не спросить чудика, отчего он так испугался упавшей ели?

– Тук, тук, тук, – вмешался дятел. – Тук, тук, тук...

Над лесом и дальше был будто дым... Из-за облаков, бежавших туда, брызнули солнца лучи, и на сосне с дятлом вспыхнуло ярко, как пламя, пятно солнечное. Освещены были и клюв, и осыпавшаяся труха, и чудилось, что дерево, где долбил дятел, горит; еще минута – вспыхнет и птица!

Родники

Из родника в санатории мы со Странником набираем в канистры воду, и я, глядя на голубей над лечебными корпусами и шурясь от солнечных брызг, сыпавшихся с неба, из разрывов облаков, рассказываю об одной своей особенности, которую я заметил в себе еще студентом и которой удивляюсь до сих пор. Нам, журналистам будущим, на практике в газетах приходилось писать обо всем, с настроением и без, вдохновение же приходило лишь тогда, когда в воображении возникали образы того, чего я не знал, а только чувствовал.

Ни неба, ни земли, ни людей не было таких, какие воображались. И воображенное вышло над действительностью! Потому и вдохновляло, должно. Удивляло и то, что воображенное было самым обыкновенным: человек в поле, хлеб, яблоко, капля росы, голос кукушки в лесу... Но все это вдруг вырывалось из обыденности, преображалось и светилось так, что освещало собой и мир окружающий, и человеческую жизнь. Быть могло и не образом воображенное, а скажем, звуком, или чувством, или вопросом...

И первым выплеском такого восприятия был рассказ «Родники», написанный мною в поезде Москва – Хабаровск, в котором началась послеуниверситетская моя, самостоятельная жизнь. Был август.

И запомнилось, что в том поезде дальнем тепловозы гудели по-разному, в пути они сменялись... А вагоны оставались прежними, с теми же просвечивающимися чистыми занавесками на окнах, проводницами невыспавшимися и потому казавшимися заспанными, чаем в стаканах с подстаканниками три раза в день, монотонным перестуком колес, считавших-пересчитывавших стыки рельс и километры... Август был к концу, когда солнце еще высоко, но уже не очень; светило оно поезду то спереди, то сзади, но чаще сбоку. На восток ехали мы, встреч солнцу, но в памяти остались не восходы, а длинные-длинные дни.

Плацкартными со мной была пожилая пара, интеллигенты, занятые собой только, они на нижних полках, а на верхних я и заросший мужик, который всю дорогу жевал или спал. В отличие от вагонов купейных, в которых все сразу же знакомятся, мы, плацкартные, не познакомились; они, старшие, молчали, а я, младший, возникал постеснялся, да и не такой я разговорчивый, чтобы озвучиваться всякий раз и везде. Так и ехали – каждый в своем молчании.

Огни мимо вагонных окон мелькали то зеленые, то красные, а гуды-свисты тепловозов походили на крики. И на всем пути не было станции, где к нам не подсаживались бы безбилетные: чемоданы, мешки, сумки и просто кепки с запахами пота, ладана, тройного одеколona... И чем дальше было от Москвы, тем сильнее запотевали окна с прозрачными занавесками, и стало казаться, что в вагоне нашем уже все безбилетные. Исчезали эти безбилетные так же, как и появлялись – словно призраки, оставляя после себя лишь запахи. И теперь, когда я вспоминаю тот первый в моей жизни дальний поезд, то неприятно удивляет одна странность – проводники не предлагали безбилетным чаю.

С верхней полки смотрю на безбилетных. Вот бородач с мешком, по виду старовер; вместо «здравствуйте» – «доброго здоровьица». Вот старуха, то ли строгая, то ли злая, с хромою девочкой: едут к знахарю, у девочки усыхает нога. А вот очень моложавый улыбчивый старик-абориген. Он радостно кивает всем красивою белою головой и кажется общительным, хотя произносит всего одну фразу: «Вот еду!» Похож он и на арсеньевского Дерсу Узала, и на крашенниковских камчадалов – находка для журналистов. И через минуту я уже рядом с радостным общительным стариком, улыбаюсь ему и киваю тоже общительно и радостно.

– Вот еду! – отвечает он на все мои расспросы. – Вот еду! Не тайга, не тундра, Чита еду.

И я возвращаюсь к себе наверх. В день первый и весь второй в поезде вспоминалось прошлое, лица студенческие, туристические костры, песни, и я с грустью вглядывался во все, что проносилось мимо окон вагонных, удаляясь и оставаясь позади. Далек уже, далеко глаза,

в которые я был влюблен – синие-синие... Но они не любили меня! Смутно в душе, мутно, и эти муть и смуть под стуки бегущих колес превращаются в стихи: «Я грущу, и грусть моя – печаль...» «Ах, жаль! Ах, жаль!» – подсказывают рифму колеса, заикаясь на стыках рельс. Чувство без образов – как музыка... Меня не любили, а я чувствовал себя виноватым: уезжая, не попрощался с синими-синими глазами. Увидимся ли теперь хоть когда-нибудь?

Как быстро пронесется все мимо! Вот семафор с глазом зеленым – мелькнул и уже позади. И представляешь, как грустно опускается сейчас его вскинутая рука, а вместо зеленого глаза зажигается красный... Семафор одинокий вызывает образ одинокого тополя в чеховской степи, и твои переживания уже не твои, а заимствованные...

Когда ты влюблен, а тебя не любят, но ты в поезде дальнем, то и мысли и чувства мало-помалу меняют свое направление; грусть и горечь, воспоминания, ослабевающая, уходит, вытесняемые проступающими очертаниями нового впереди... Между прошлым и будущим твой поезд и будущее побеждает. Перед глазами станции, и полустанки, и переезды, дороги... Как много дорог! Они и в одном направлении с поездом, и против – встречные, и поперек, прямые, кривые – появляются, исчезают и снова появляются...

А леса подходят к поезду так близко, что, кажется, до них можно дотянуться рукой прямо из окна вагона. И вот уже в воображении в лесах этих озера, речки, родники – светлые, ясные, чистые... Особенно очаровывают родники. Отчего обыкновенная вода, возникающая из-под земли, так поэтична? Оттого, что она – из тьмы к свету? Очарование и в самом слове: родник – рождающийся... Кто напьется из родника и умоется в нем, тот станет чудесно чистым, ясным, светлым... Как просто и прекрасно! И поезд уже видится рекою, в которую впадают лесные родники, и они вместе бегут к далекому морю-океану.

Взволнованно стало на душе – и радостно, и грустно, стихи замерцали. Достāju блокнот и, лежа на верхней полке, сочинил-набросал – рассказик детский со множеством радостных, восхищенных восклицательных знаков и грустным многоточием в конце; все воображенным было в нем, зыбким, как в видениях... И от той легкости, с какой был написан этот рассказ, от грусти радостной и грустной радости творчества художественного, родилась мечта стать писателем. Детским! И эта мечта казалась вполне осуществимой.

На верхних вагонных полках ни сесть, ни в окно посмотреть как следует – шея немеет, устают глаза, но наверху шум-стук колес не такой жесткий, как внизу, и легко мечтается. Леса по сторонам поезда казались до бесконечности широкими и покойными, но было видно – встревожены они, особенно березы, у которых от ветра вершины кивали, а ветви махали; и все деревья клонились в одну сторону, по ходу поезда – попутный был ветер. А за Уралом вдруг потемнело, потянуло холодом, сильно зашумело, и в окна ударил дождь с градом.

– Как-кое! – испугалась хромая девочка и зажмурилась. – Сердечее!

Зажмурились и интеллигенты, жена и муж, сидевшие чуть ли не прижавшись друг к другу в тесноте. Тонкая шея хромоножки потянулась к окну, к дождю, граду и ветру.

– А солнце еще будет? – спросила она.

– Сядь! – в худенькое плечо детское впиалась костляво-узловатая рука старухи, как лапа старой птицы. – Сядь и сиди! Не егозь.

Губы и щеки хромой девочки, все лицо задрожало, но не заплакало, только выражение стало как у немой, а старуха помрачнела. Видать, впервые ехала она без билета, тяготилась этим и, судя по мраку на лице, ненавидела поезд, в котором она и больная ее внучка были лишними.

– Еще и эта напасть – град! – зло произнес женский голос за перегородкой. – И огороды, и поля побьет, ничего не соберем с земли.

– В прошлом годе тож, – проснулся заросший мужик, – тож в августе град бил, – и хохотнул: – Крышу у соседа всю перемолотило – и шифер, и цыплят... В наказанье! Зверюга его, пес, обтрепал петуха моего до самой гузки, а петух дареный, за то и наказанье.

– Без наказаньев нельзя, – повторил он после жевания пустым ртом и сглатывания слюны. – Нельзя! Без наказаньев-то.

И задумался. О чем? О наказаниях или, может, о том, что град сейчас бьет крышу и его дома, его огород, дареного петуха? Кто знает, что происходит в душах заросших, когда они задумываются!

– В такую погоду хорошо бы крякнуть! Стакашек с прицепом, – словно после дремоты потягиваясь, произнес подсевший на Урале безбилетный в новом болоньевом плаще. – В погоду такую только крякать.

Был он молодой, а в волосах уже седина, лицо открытое, располагающее к общению. Взгляд его остановился на мне.

– Как насчет ресторашки, студент?

– Не пью. Разве пиво только, – и спустившись с верхней полки, я пошел за болоньевым плащом.

Пошел не просто так, а по-деловому, с блокнотом; в то время я боролся в себе с застенчивостью и вырабатывал общительность, необходимую в журналистике. К тому же случайные встречи бывают даже очень интересными. Студент все еще сидел во мне, студент! Старуха и хромая девочка тоже встали и пошли за нами.

И в тамбуре я почувствовал на себе пристальный взгляд. Смотрела старуха. Моя тетка по матери при переселениях в СССР с запада на восток пропала без вести, словно в воду канула, и в лице старухи мне показалось что-то знакомое. Но тетка пропала у Тихого океана, а тут были Урал, Сибирь. Померещилось! Отвела взгляд и старуха; видно, потеряла тоже кого-то, и мы оба обозначились теперь. Хромоножка же продолжала смотреть на меня немигающе. Ей-то что могло мерещиться? Выходили они на следующей станции.

Ресторан был через два вагона, и когда мы пришли, то в нем, среди дня, горел свет; сели за примкнутый к стене столик, еще не убранный. Приняв заказ, официантка с брезгливым выражением стала убирать со столика тарелки и недоеденный хлеб, не обращая внимания на крошки и пятна на скатерти; пересесть бы, но в вагоне-ресторане все места были заняты. Уральскому безбилетному принесли прозрачный графинчик и две селедки, соленую и копченую, а мне пиво и воблу, горячее позже, и мы познакомились.

– Мавр, – назвал себя попутчик, пошутил.

Пошутил и я:

– Северянус. На Крайний Север еду, в Магадан.

– В Магадан без конвоя? Или ты комсомолец-доброволец?

– После вуза я, по распределению-направлению.

– А-а... Это все равно что с конвоем.

Сердючего уже не было – ни ветра, ни града, ни дождя-хлыста, моросило только, уныло и скучно, как долгий плач. В жабрах воблы была ржавчина, а пиво теплое, и Мавр, колыхнувшийся было заказать себе к водке и пиво, увидев, что я жую пену, передумал.

– Мыло? – спросил он.

– Пена! – ответил я и засмеялся сам не знаю отчего.

Графинчик напротив меня кланялся рюмке раз за разом – за поклоном первым сразу второй, третий... И закусывал Мавр тоже с вывихом: попеременно то соленая, то копченая селедка, начиная с хвостов, и все щурился, глядя на пустеющий графинчик.

– Со студентами давненько я не беседовал, – насмешливо-добродушно заговорил он после очередного поклона графина. – Давненько!.. Хор-рошее время – студенческое, лучшее

в жизни! Влюблен ты, конечно, у сердца фото – студент не может не быть влюбленным! Какая она у тебя – чернявая, белая?

– Нет у меня у сердца.

– Разочарованный? Дело обыкновенное. Вот тебе рюмка-стопка – от разочарований.

– Не надо.

– А в пиво капель десять? Тож не надо? Характер держишь? И правильно! Когда все против, то только и остается – характер. Но ты не снижай! В жизни все – случайности: сегодня одно, а завтра, смотришь, уже совсем другое... Случайности все, студент, случайности.

И он длинно заговорил о случайностях. Интересно, после скольких рюмок-стопок или стаканов человек становится философом?

– Где случайность, там и необходимость, – вспомнив лекции и семинары университетские, заметил я, когда Мавр причислил к случайностям уже и наш поезд.

– Это в зувах так учат, заведениях ученых валенков, а в жизни не так, студент, не так! Вот, к примеру, я. Учился я на инженера-механика, год оставался до диплома, уже и невеста была. И вот повел я свою разлюбимую в ресторан. Дым, музыка, сидим... И подходит к нам какой-то хмырек, совсем случайный, и по-хамски тянет к себе мою красивую – танцевать. Ну, я, понятно, встаю и в морду ему – учу культуре, а он соплей оказался областных козырей. Обняли меня ручки прокурорские – и на Сосьву, на лесоповал, слышал про речку такую? Три года, от звонка до звонка. Необходимость это или случайность, а? Хорошо, дальше. С лесоповала возвращаюсь, а у моей любимой-красивой уже ребенок, я ни при чем... Жизнь, студент, не такая, как учат, не такая! Теперь вот в Хабаровск еду, чтоб потом в Бикин, к друзьям-знакомым, а что и как там, в Бикине, не знаю, еду зажмурившись.

Он вслушался. Вслушался и я – в нарастающий шум. Гуд тепловозов, громкий стук колес, мимо замелькали вагоны и окна проносящиеся – встречный поезд. Поезда встречные видятся, слышатся и чувствуются не такими, как тот, в котором мы; они и голосистее, и стремительнее, и бодрее; как зов влечет встречное движение, и встревоженно-взволнованная душа потом еще долго неспокойна. В окне последнего вагона встречного поезда развеялся алый шарф: должно, дети озорничали. Шарф мелькнул и исчез, а в воображении осталось – птица алая, необыкновенная, против ветра летящая...

Не произошло ничего особенного, просто прошел встречный поезд и в нем мелькнуло что-то яркое, но в ресторане установилась тишина, все были смущены. На одном из столиков нечаянно звякнул бокал; звук был печальный, тоскующий, словно бокал жаловался на то, что он не хрустальный, и на судьбу свою вагонно-ресторанную, неприкаемую. Звук замер, но казалось, что он повторится снова сейчас. Чувство было такое, что не шарф пронесся озорно мимо нас, а в самом деле птица необыкновенная – вещая... Мавр заказал себе еще полграфинчика, а я ушел.

– Случайности все, студент, случайности...

Хмельной, он не заметил моего ухода и продолжал разговаривать со «студентом».

Вернувшись в свой вагон, я тотчас же взобрался к себе на полку с желанием уснуть. Дождь за окном моросил все так же скучно и нудно. От пены пивной и ржавой воблы в животе у меня урчало-бурчало, с отрыжкой и изжогой, а напротив с храпом дышал в мою сторону заросший. Я отвернулся. И потом долго слышал, как на вагонном столике звякали в подстаканниках стаканы со спитым чаем. В ресторане бокал жаловался на свою судьбу, а этим хотелось, видно, быть ресторанными бокалами.

Леса стали темнее и суровее – тайга. На всех станциях одинаковые и перроны бетонно-асфальтовые и голоса репродукторов информационных, объявлявших о прибытиях и убытиях поездов... При торможениях и когда поезд трогался, вагоны дергались так резко, что взлязгивали буфера, и чтобы не свалиться с верхней полки, я упирался ладонями в вагонную крышу,

нависавшую над самыми глазами. Эти взлязги, стыки рельс и километры уже отдавались в висках, и вдруг – грохот! Это мост. Внизу река, волны с пенными гребешками. Мост давно позади, а ты все думаешь о реке, о странности ее: не слышно в ней было движения воды. Немыми были мочушие реки! И вот в стуках-перестуках колес поезда уже и вопросы.

– Ерофей Павлович! Ерофей Павлович! – по вагону шел голос невыспавшейся проводницы, объявлявшей станцию перед Хабаровском; и через минуту снова, уже обратно и не сонно: – Ерофе-ей Па-авлович!

Из книг со мной были Арсеньев, Крашенинников и Джек Лондон – молитвенники мои. Искал я и о Колыме что-нибудь, но даже в магазинах букинистических не нашел ничего: таинственное какое-то было молчание... А сейчас произносили имя Ерофея Павловича Хабарова, основателя столицы Дальнего Востока – Хабаровска; произносили так, будто он, землепроходец знаменитый, ехал в одном с нами поезде, и это волновало.

В своем воображении я ехал не столько на Колыму, сколько на Крайний Север, который представлялся мне так: белое безмолвие, тундра, сопки, одежды меховые... Но не землепроходчество влекло меня, не открытия и жертвенность ради них, а страсть увидеть. Увидеть, увидеть! И потом очерки, рассказы, повести... Влекло и то, что на Севере, как писали в книгах, не бывает гнили.

Приехали в Хабаровск. Небо в облаках, хмуро, дует северный ветер. К Амуру! К Амуру! Река насуплена, волны широкие... Суров батюшка Амур! Собственно, таким я и представлял себе Дальний Восток – суровонелюдимоненастным... О Дальнем Востоке после распределения-направления на Колыму я читал все, что попадалось на глаза и под руку; читал взахлеб, торопливо, обращая почему-то особенное внимание на климат, и вот теперь, на берегу Амура, сразу же приступил к предсказанию погоды – будущего. Взором вонзаюсь в небо. Облака высокие или не очень? Кажется, они снижаются – значит, ненастье еще не сейчас, а впереди; и облака разбросаны – пока погода будет умеренной. Не так уж неприветлив ты, Восток Дальний, каким показался, когда я вышел из поезда, из надышанного за долгий путь вагона.

– Зачем тебе Находка? – узнав, что я еду в Магадан, а билет взял в Находку, на вокзале хабаровском, в благодарность за кружку пива, давал мне советы бездомный в галстук: бич – «бывший интеллигентный человек», по образованию астрофизик. – Из Хабаровска в Магадан лучше же самолетом – полтора часа и в дамках.

– В жизни моей самолеты еще будут, а Находки может уже не быть, – объяснил я свой поступок, казавшийся ему странным. – Да и денег у меня не столько, чтоб летать.

– Из Хабаровска в Находку, а потом морем в Магадан, с пивом, дороже, чем самолетом.

– Пусть все идет так, как идет – пройду свой путь от начала до конца, как назначено.

– Ну-ну! Тебе виднее... И кем же будешь ты в Магадане?

– Журналистом.

– Журналистом? Не профессия! Мужик должен пахать, воином быть...

– Но и вы, астрофизики, тоже не воины и не пашете.

– Я не пример, я сброшенный... На Колыму звали и меня – в старатели, но я нет, от Амура я никуда. Это же единственная в мире река, которую величают батюшкой!

– Земле не нужны астрофизики, – продолжал он, хмелея от кружки пива. – Но дело не в этом. Всякая-любая профессия – это функция, оковы, а человек должен быть свободным на все четыре стороны, и я свободен!

– Свободен, как муха в паутине.

– Не муха, а птица: куда хочу, туда и лечу, – и он показал, как летают свободные: замахал над головой руками крест-накрест.

– Птицы так не летают.

– Летают и хуже, – возразил он неожиданно с раздражением, даже злобой. – Вот даст Магадан тебе под зад – на себе узнаешь, как летают.

– На носу у вас пена! – сказал я, почувствовав тоже раздражение.

Не люблю я в себе резкие такие переходы-перепады настроения, но ничего не могу поделать, как ни стараюсь. Я сразу же ушел, а свободнолетающий как ни в чем не бывало свободно допивал пиво из моей кружки.

Белый теплоход, на который в Находке я взял билет до Магадана, был в своем роде первопроходцем – первый из тех белых, которые стали ходить на Колыму после ГУЛАГа. В Находке подтвердилось худшее из моих предсказаний погоды – шел дождь, и чайки, прилетавшие на берег, уже не возвращались в море. Кучками и поодиночке сидели они уныло на причалах, бревнах мокрых, гальке и песке, похожие на хлопья пены морской, выброшенной волнами на берег. Чайки вскрикивали и стонали, словно у них было горе. И дождь был тоже как больной: моросит-моросит – и вдруг порыв резкий с жесткими крупными каплями.

Говорили, что в Охотском море штормит, но теплоход отошел от причала по расписанию. Стою на палубе и прощаюсь с Находкой – городом, которого я не знал и который не знал меня. И теперь только, когда в лицо ударил холодный ветер северный, я ощутил, почувствовал и начал осознавать, к у д а я еду.

– И как предчувствовал я тогда на хабаровском вокзале! После уже не было в моей жизни ни поездов дальних, ни белых теплоходов, – рассказываю я Страннику о своей послеуниверситетской одиссее из Москвы в Хабаровск и потом в Находку и Магадан. – На самолетах летал. И вот что удивительно: вспоминается в поездке той дальней все, а сердце щемит от пустяков – от деревьев, клонившихся по ходу поезда, от шарфа в поезде встречном, рек немых...

Канистры наполнены, но уходить не хотелось. Желобок у родника уже новый – не береговой, а алюминиевый. Вода из него падает в вымоину, как в чашу, и дальше бежит к берегу, с которого опять падает – в пруд, веселая, яркая. Поет! Солнце то заслонится, то покажется из облаков, словно свет и тьма в небе играли в прятки. И когда свет прятался, то тьма-тень на землю не ложилась, а передвигалась, как живая.

– Алый шарф так и остался в моем воображении красивой птицей, – сказал я не без смущения, стесняясь почему-то говорить об этом. – И теперь кажется, что тогда во встречном поезде мелькнуло счастье... Мелькнуло и исчезло. После я уже не встречал ничего, что было бы похожим на счастье. Розовую видел чайку, но ее убили.

Уходя, мы услышали на Воре голоса, детский и женский. На мосту, подвешенном на тросах над речкой, озорничал карапуз лет шести – раскачивал мост, а на берегу мать махала руками, и оба кричали. Мост смеялся, захлебываясь от восторга, а берег грозил.

– Не надо, – сказал Странник, когда я поставил канистры, чтобы пойти на помощь женщине. – Не надо.

– Почему?

– На вас, чужого, мать кинется, а карапуз сигануть может с моста, со мной было такое. В случае чего мать сама бросится и на мост, и в речку, а на чужого кинется, меня даже ударили.

Пожав плечами и постояв в нерешительности, прислушиваясь к голосам, уже затихавшим, я снова взял канистры, и мы пошли вдоль пруда по старой аллее липовой, затененной до самых вершин. Зарастающий пруд был с ряскою по кайме берега; пруд гибнул, но в нем было столько поэтического, грустного, что казалось, таким он и быть должен. Вышли на дорогу чуть шире проселочной, с асфальтом, не просохшим еще после вчерашнего и ночного дождя. Дорога вела в бывший пионерский лагерь «Подмосковные зори» и в пансионат «Заря», тоже бывший.

У болотца, такого косматого, точно в нем только что драли бороду лешему, мы свернули в лес – на тропу с обнаженными корнями переплетенными – и вошли в сосны с удивительно ясным воздухом, потом в густые темные ели, и тропа выпрямилась. Шоркают позади меня кирзовые сапоги. Я несущу обе канистры, а Странник рассуждает, седой и рыжий.

– Вот говорили вы о раздвоенности вашего восприятия и считаете это своей особенностью, не можете объяснить себя, а между тем в раздвоенностях нет ничего особенного, – слышался позади высокий голос, будто передразнивавший картавых.

– Пожалуйста, идите впереди, а то шея у меня все норовит обернуться, немеет от напряжения, – попросил я Странника и остановился, чтобы пропустить его вперед.

И теперь передо мной была говорящая рыжая голова, несоразмерно большая, с лысиной до затылка и вихорком пламенеющим. Голова произносила монолог о действительности и познании.

– Познание и действительность взаимны, то есть в единстве и противоположны, – говорила рыжая несоразмерная. – Следовательно, и процессы между ними – переходы, преобразования и превращения – тоже и противоположны и в единстве – взаимны.

Познание преобразует и превращает действительность в непознавательную – исключенную из познания и познавательную – в познание включенную. Включится или нет непознавательное в познание, покажет будущее, но пока оно отторгается. А познавательное раздваивается дальше: в непознанное – кажущееся и познанное – факт.

А действительность, в свою очередь, преобразует и превращает познание: в недействительное – воображаемое и действительное, реальное. Воображаемое, бог с ним, оставим его вере и верующим, а реальное раздваивается на несоответствующее действительности – заблуждение и соответствующее – истину.

Мерило же всех этих процессов – практика. Она отторгает кажущееся и заблуждение, а факт и истину подтверждает... Истина – это действительно познанное, а факт – познанная действительность.

Странник, оглянувшись, улыбнулся-усмехнулся:

– У вас воображенное выше действительного – значит, вы больше верующий, чем знающий. Верят ведь потому, что не знают. Но вы не огорчайтесь – никому еще не удалось пройти мимо веры. Например, сейчас мы с вами верующие.

– Почему именно сейчас?

– Вот воду мы взяли, а из этого родника пить можно ли? Я не знаю, и вы, полагаю, не знаете тоже, но оба мы верим – можно, иначе к роднику не пошли бы.

– Не одни мы ходим сюда.

– Не одни мы – не аргумент; другие могут ходить, положим, потому, что ходим мы с вами... Столько родников, из которых пить нельзя, а из них пьют!

– Хотите сказать, вера сильнее знаний?

– Вера слабее знаний, но ее больше. У подлинных знаний лишь факт да истина, а у веры и заблуждение, и кажущееся, и воображаемое.

«Абстракции... Абстракции!» – пропел во мне сверчок голосом, похожим на мой, но не совсем узнаваемым, опереточным. И пропел, видно, во всеуслышание, потому что Странник сказал:

– Абстракции заслуживают лучшего отношения.

– У меня мышление образное, конкретное, с абстракциями я чувствую себя не совсем уверенно; конспекты студенческие по философии были выброшены сразу после экзаменов.

– Не пожалели потом?

– Для практики нас готовили, для действия, а не созерцаний.

– Практика не только действие...

– С абстракций, если они солгут, не взыщешь, розгами их не выпорешь – они же бестелесны. Обычно избегаю я говорить об абстракциях.

– О них вы поете, иронично. А от абстракций, между прочим, человек образовался.

– Человек произошел от абстракций?!

– Но не оттого же, что кто-то подул и подышал в глину.

– Не религиозен и я, советский же, но не настолько, чтоб уж так очень – не кричу, что бога нет. Бог – идеал, а низвергать идеалы опасно... Если человек произошел, по-вашему, от абстракций, то кто же в таком случае то, что ходит по Земле в шляпе? И по виду, и по характеру, по повадкам обезьяна же! Человек произошел от обезьяны – это общеизвестно.

– От обезьяны может произойти только обезьяна. Человек не произошел, а образовался в обезьяне... Различие улавливаете? Образовался человек в тот момент, когда в мозгу обезьяны возникло первое обобщение – абстракция. А обобщения образуются тогда, когда в памяти накоплен избыток образов, чувств и ощущений. Где избыток, там отношения, сперва мерцающие, затем устойчивые, а потом и между абстракциями образуются отношения, и все это множится, ускоряясь по мере множения и ускорения опыта и количества людей... Этим объясняется такое бурное, почти взрывное развитие человеческого мышления, которое удивляет нас, как чудо. Человек – дитя и средство познания, а само познание – родник, расширяющийся и углубляющийся, но не утоляющий жажду человеческую.

– А я подумал было, что вы из тех, которые воображают свое происхождение от инопланетян.

– Так невооруженным же глазом видно, что человеческое тело обезьянье, особенно когда оно чрезмерно волосатое.

– Но люди есть и не волосатые.

– Не волосатых нет, но вы правы: были не только сильно волосатые обезьяны, но и волосатые не очень, не от одного дерева человек.

– А как же теория о том, что человечество произошло от одной женщины?

– От одного вообще ничего не может произойти. В количестве все образуется, при наличии соответствующего избытка. Но можно понять и тех, кто воображает себя неземным: приятнее быть дитем богов или инопланетян, чем обезьян, к тому же неизвестно каких – может, безумных. Но представление о неземном происхождении лукаво: тайну действительную оно подменяет воображаемой, замещая познание верованием.

И дальше Странник стал зачем-то объяснять мне, что познание бывает особенное, общее и всеобщее. Особенное – все науки, кроме математики и философии; общее – математика, а всеобщее – философия. Науки разные, а способы познания едины: созерцание, наблюдение, измерение и сопоставление. Но в познании впереди не наука, а искусство. Искусство старше науки, оно интуитивное, а не исследовательское; из четырех уровней познания – созерцание, наблюдение, измерение и сопоставление – развиты в искусстве лишь созерцание и наблюдение. В искусстве образы, чувства, ощущения и интуиция, а в науке вещи и отношения, абстракции и логика, а в практике все это соединяется действием.

– Назвав себя сапиенс – разумным, человек тем самым определил планку своего развития...

– Однако! – невольно вырвалось у меня.

– И только ваша профессия – журналистика – непонятно что в познании: ни наука, ни искусство, – усмехнулся карлик, желая, очевидно, осадить мою ироничность.

– Журналистика слышала о себе и покруче, – сказал я. – Например, древнейшая профессия после... Нет, язык не поворачивается произнести омерзительное слово. Обманулся я по-детски в выборе профессии: думал, что на факультетах журналистики обучают литературному мастерству. Бросить же не хватило ни воли, ни силы, и оклеймила меня журналистика, как в древности клеймили рабов.

– Так-так! – послышалось впереди нас. – Так-так!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.